

«НОЧНОЙ ПОЛЁТ» (1930) И «ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК» (1942)

1930, 1942, выдержки Дятловых от 20.01.2018

Война	2
Вечный бой	4
Победа и поражение	4
Герой, героизм и осторожность	5
Предательство	9
Государство	9
Народ	9
Гуманизм	9
Деятельность	10
Созерцание	12
Цель, задача, проблема	13
Жизнь	13
Смысл жизни	13
Идеалы и интересы	13
Интерпретация, герменевтика, толкование	14
Время	14
Коллективизм и индивидуализм	14
Культура, цивилизация, природа	17
Культура и цивилизация	18
Любовь (Эрос)	18
Смерть (Танатос)	21
Масса, толпа	23
Анархизм	23
Мобилизация	23
Монизм и полифакторность	23
Интеллект	24
Логика	24
Разум	25
Ум	27
Надежда	27
Насилие	27
Сомнение	27
Знание	28
Традиция	28
Объективность, субъективность, скептицизм	28
Объяснение и понимание	29
Онтология, бытие, существование, реальность	30
«Суть времени»	30
Восстание масс	30
Права человека	30
Равенство	30
Христианство	31
Вера и разум	31
Теодицея (теория зла)	32
Свобода и обусловленность	33
Смысл и значение	33
Смысл и цель, будущее	36
Субъект	37
Сущность и явление (существование, реальность)	38
Счастье и страдание	38
Тайна	41
Труд	41
Творчество	42
Субъектность зла	42
Великая Тьма и Великая Ночь	43
Диалектика и противоречия, антиномии	44
Формализация	44
Целостность	44
Человек (антропос)	45
Детство	46
Дух	47
Душа	49
Инстинкт (животный аспект)	49
Личность и индивидуальность	50
Окончателность	51
Совесть	51
Сознание	51
Тело	51
Честь	53
Чувственность, сенсуализм	53
Этика, мораль, нравственность, релятивизм	54
Язык и коммуникация	54

ВОЙНА

1. Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый из всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну. И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: *«Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?»* — *«Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие»*... — Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр. Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь. — Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!.. — добавил Дютертр. А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!.. Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная. К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать...
2. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.
3. *«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа»*. Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконтэ...
4. Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишиться рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело

превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.

5. По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему: — Мои деревья! Он вас не слышит. Он воюет. Он прав. Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летними экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.
6. Дютертр рассуждает по-своему: — Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война — явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались...
7. Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей, остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.
8. — Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы подлецы! Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку. — Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают! — Что подделаешь, война... — Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь на шесть километров! Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их, наверняка, уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг. — Мы воюем... — ...лучше бы нас подобрали! Есть у вас совесть? Громко кричит ребенок. — А этот... Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика. — Что подделаешь, война... Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством. — Да вам до нее никогда не добраться, до вашей войны! Вы подохнете здесь вместе с нами! — Мы воюем... Они уже и сами не уверены в том, что говорят. Они уже и

сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки.

9. Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четыре километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии.
10. Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война — это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-напросто приятие смерти.
11. Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ...» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасти жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

ВЕЧНЫЙ БОЙ

12. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черёд тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолётов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь ещё одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. <...> «Значит, всё это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришёл он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грёзах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолёты... [«Ночной полёт», 1930]

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

13. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черёд тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолётов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь ещё одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. <...> «Значит, всё это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришёл он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грёзах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолёты... [«Ночной полёт», 1930]

14. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.
15. Он [Израэль — Н.Д.] был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем.
16. Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.
17. Поражение накладывает на побежденных печать вины, и в этом его несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы...
18. Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.
19. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.
20. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: *«Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью»*. Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.

ГЕРОЙ, ГЕРОИЗМ И ОСТОРОЖНОСТЬ

21. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в суতোлке железнодорожной пересадки.
22. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.
23. Он [Израэль — Н.Д.] был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем.

24. Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы...
25. Кто станет с увлечением надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого увлечения. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать.
26. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, оказался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: *«Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...»* Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? *«Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»* Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.
27. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... <...> Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
28. *«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа».* Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте...
29. Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка, — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев. Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать

меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, Огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.

30. Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат. Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти.
31. Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснять трудно. Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции. Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ. Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой: — Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выразалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.
32. Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логика нам твердили: *«Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?»* Логика были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавиться себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.
33. Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо. Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, заплыть любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину. Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоём действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки,

ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твоё открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: *«И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..»* Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твоё изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого. Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за своё тело, что всё это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом. Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю всё, чем я был до этой секунды. Не я думал о чём-то. Не я чувствовал что-то. То было моё тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

34. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было...
35. Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: *«Послушайте, Ошедэ...»* Для Ошедэ война всё равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.
36. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества...
37. Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва. Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое именование, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имяние это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.
38. Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради

Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.

39. Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

40. Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос: — Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

ГОСУДАРСТВО

41. Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл.
42. Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство. Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отрицаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке — а ведь только он может оправдать наш отказ.

НАРОД

43. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?

ГУМАНИЗМ

44. Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви. Незримый путь, начертанный силою тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась

сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения.

45. В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море. Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!
46. Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека. Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.
47. Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва.
48. Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49. Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Всё, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — всё это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. <...> Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. [«Ночной полёт», 1930]
50. Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное... [«Ночной полёт», 1930]

51. Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста: *«Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?»*. Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чьё-то лицо. И всё же мосты строятся... Инженер тогда же добавил: *«Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чём другом основана быть не может»*. — *«И всё же, — ответил ему позже Ривьер, — хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто ещё более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?..»*. И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает чьё-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: *«Во имя чего?»*. *«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо»*, — думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. *«Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?»*. Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно — всё равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их ещё безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла. [«Ночной полёт», 1930]
52. Всё здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка чёрствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене... Дома всё кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов... А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь всё было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) — услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: *«...опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!»*. Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта. Её губы слегка дрожали. Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой. Но её правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к её лицу и читали на нём эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить. [«Ночной полёт», 1930]
53. **Ривьер:** *«Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие»*. [«Ночной полёт», 1930]
54. Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто люблю её улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит. Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...
55. Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат.
56. Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут

гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.

57. Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва.

СОЗЕРЦАНИЕ

58. Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочно такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен. В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны? Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.
59. Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать.
60. Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет. Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст окружающим свою спокойную веру.
61. Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА, ПРОБЛЕМА

62. **Ривьер:** *«Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие».* [«Ночной полёт», 1930]
63. Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий. Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления. Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При безусловно действующей администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться. Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна действовать творчески. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика.

ЖИЗНЬ

64. Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. *«Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, — размышлял Ривьер, — жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».* [«Ночной полёт», 1930]
65. С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение... *«Общественным мнением нужно управлять»*, — возражал он. Он думал: *«Сколько времени пропадает напрасно! И всё же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создаёт свои собственные законы. Оно неодолимо».* Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полётами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас. [«Ночной полёт», 1930]

СМЫСЛ ЖИЗНИ

66. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нём новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчёт: движение событий. Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом — решение всех задач. [«Ночной полёт», 1930]

ИДЕАЛЫ И ИНТЕРЕСЫ

67. Так за что, в конце концов, мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну что ж! Это ее право. Но тем самым

она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно...

68. Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.
69. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ГЕРМЕНЕВТИКА, ТОЛКОВАНИЕ

70. Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность.

ВРЕМЯ

71. Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полёт? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружинкой, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться. [«Ночной полёт», 1930]
72. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосющиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное... Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку столько забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать...
73. Страх возникает, когда теряешь уверенность в том, что ты это ты. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать — подобно тому как оно созидает дерево, — ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело.

КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ

74. Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы

- их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четыре километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии. <...> И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.
75. Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.
76. Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме. Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы от нее...
77. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?
78. Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь. Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.
79. Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой. — А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану. Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.
80. Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние.

81. Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отречься от того, что неотделимо от нас.
82. Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу. Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пасторов, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.
83. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: *«Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью»*. Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.
84. Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих...» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.
85. Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность.
86. Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале.
87. Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, величие моей духовной культуры в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают Человека.
88. Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней.

89. Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.
90. Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наносу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.
91. Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груды камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность.
92. Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Массы. Но их формула непригодна. Потому что если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу, — нельзя, разумеется, допустить также и то, чтобы Массы подавляла одного человека.
93. Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРИРОДА

94. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность. Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она создается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.
95. Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочно такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен. В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны? Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.
96. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконтте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом,

беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

97. Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой... <...> Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды...
98. Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, избличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить поработанные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

99. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине... А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.

ЛЮБОВЬ (ЭРОС)

100. Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолёта. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: *«Она была слишком туго закреплена, я исправил»*. Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. *«Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее.»* Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его: — Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь? | — О, любовь, господин директор... знаете ли... | — Вам, как и мне, всегда не хватало времени... | — Да, не очень-то хватало... | Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: *«Вот и всё! Готово!»*. *«Вот и всё!»* — подумал Ривьер. — *Моя жизнь тоже готова!*. Он отогнал

грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолёт уже гудел в воздухе. [«Ночной полёт», 1930]

101. *«Любить, только любить — какой тупик!»* Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: *«Задача в том, чтобы дать им бессмертие...»*. Где он их прочёл? *«Внутри самого себя бессмертия не найдешь.»* Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы... Не будь их — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? *«Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?»*. И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок... *«Этот вид счастья — что конская сбруя»*, — подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти... Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна. [«Ночной полёт», 1930]
102. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине... А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.
103. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... <...> Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
104. Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготавливавшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма. Конечно, сейчас я не чувствую никакой любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам. От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика...
105. Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... <...> Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч

метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений. Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь даст ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.

106. Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишённого сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу 2/33. Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю. И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше, чем когда-либо, принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине.
107. Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме. Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуала, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы от нее...
108. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?
109. Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь. Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.
110. Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой. — А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану. Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.
111. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.
112. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дождалась до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка,

который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

113. Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва. Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имя, кто жертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имени. Имя это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.
114. Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.

СМЕРТЬ (ТАНАТОС)

115. *«Любить, только любить — какой тупик!»* Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: *«Задача в том, чтобы дать им бессмертие...»*. Где он их прочёл? *«Внутри самого себя бессмертия не найдешь.»* Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы... Не будь их — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? *«Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?»*. И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок... *«Этот вид счастья — что конская сбруя»*, — подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти... Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна. [«Ночной полёт», 1930]
116. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посвящает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить. [«Ночной полёт», 1930]
117. **Ривьер:** *«Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие»*. [«Ночной полёт», 1930]
118. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа теряет нас, как теряют багаж в суতোлке железнодорожной пересадки.
119. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя

истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

120. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине... А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.
121. Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопчем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суедемся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.
122. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... <...> Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
123. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать... Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени...
124. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем...» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают?
125. Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ...» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить

самому; умирая, спасать жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

МАССА, ТОЛПА

126. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?
127. Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор.

АНАРХИЗМ

128. Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только грудку камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке. Одни из них сразу же, недолго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Грудку камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе Человека, но целиком переносит его на отдельную личность. И это ведет к противоречиям еще более непримиримым, чем наши.

МОБИЛИЗАЦИЯ

129. Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить поработанные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

МОНИЗМ И ПОЛИФАКТОРНОСТЬ

130. Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале. Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию...

131. Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.
132. Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями.

ИНТЕЛЛЕКТ

133. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового ореха так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

ЛОГИКА

134. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа.
135. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.
136. Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос: — Чтобы

предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

137. Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логика нам твердили: *«Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?»* Логика были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавиться себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.
138. Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путанице проблем.
139. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожидла до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожидла до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

РАЗУМ

140. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.
141. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа.
142. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем

состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: *«Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...»* Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? *«Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»* Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

143. Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логика нам твердили: *«Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?»* Логика были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.
144. Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния...
145. Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.
146. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.
147. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового ореха так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен

спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

148. Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

УМ

149. Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.

НАДЕЖДА

150. Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению... Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды?
151. Я понимаю, наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друга за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца того же самого Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: *«Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько же самодовольства в твоём отчаянии!»*.

НАСИЛИЕ

152. Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

СОМНЕНИЕ

153. Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти. Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он сложен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел

бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.

154. Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас.

ЗНАНИЕ

155. Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто люблю ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит. Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...
156. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.
157. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового ореха так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

ТРАДИЦИЯ

158. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, СУБЪЕКТИВНОСТЬ, СКЕПТИЦИЗМ

159. Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.
160. И стыд этот не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя...

ОБЪЯСНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

161. Говоря откровенно, суда он [инспектор — Н.Д.] не вершил — он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. [«Ночной полёт», 1930]
162. Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто люблю ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит. Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...
163. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... <...> Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
164. Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснять трудно. Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции. Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ. Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой: — Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.
165. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?
166. Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходиться в отчаяние.

ОНТОЛОГИЯ, БЫТИЕ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, РЕАЛЬНОСТЬ

167. Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать.
168. Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась, — об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то.

«СУТЬ ВРЕМЕНИ»

169. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина?

ВОССТАНИЕ МАСС

170. Что могли мы противопоставить культуре Государства или культуре Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

171. Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.
172. Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.
173. Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

РАВЕНСТВО

174. Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и

командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство.

175. Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.
176. Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

ХРИСТИАНСТВО

177. Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника. Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность.
178. Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

ВЕРА И РАЗУМ

179. Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.
180. Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти. Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он сложен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.
181. Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, избличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить

своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

182. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратиться в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина?

ТЕОДИЦЕЯ (ТЕОРИЯ ЗЛА)

183. Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки. — Место подсобного рабочего. — Нет, мсье, нет... Я хочу вам сказать... — Можете идти. *«Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает Ривьер. — Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты созидаете. Да и людей созидаете. Или устраняете, если они — орудие зла»*. <...> Достаточно было сказать: *«Ну ладно, ладно, оставайтесь»*, — и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. *«Разорвать бумагу?...»*. Семья старика, его возвращение вечером домой... *«Разорвать?»*. Позвонил телефон. Ривьер взял трубку... <...> Ривьер думал: *«Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полёта погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти»*. [«Ночной полёт», 1930]
184. *«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная тёмная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растёт, ширится, неистово бьёт ключом повсюду, где только затевается большое дело.»* Ривьеру подумалось — под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы. *«Большое дело...»* Ривьер пытался убедить самого себя: *«Эти люди... Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них...»* Его сердце билось коротко, часто, больно. *«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точно цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке...»*. [«Ночной полёт», 1930]
185. А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозды; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение. [«Ночной полёт», 1930]
186. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшим к нему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если и навести на них револьвер, все пойдет хорошо... Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина.
187. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что

ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового дерева так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

СВОБОДА И ОБСУЛОВЛЕННОСТЬ

188. Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодезю. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.
189. В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море. Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!
190. Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, нанюшу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.
191. Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ

192. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине... А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.
193. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг

обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. <...> Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление... Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.

194. Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопчем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.
195. Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки? Я уже не вижу собора, в котором живу. Я облачаюсь для служения мертвому богу.
196. Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. <...> Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом сводится сейчас, в пределах моих действий, к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к Богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой.
197. По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений

- под сенью парка. Вы говорите ему: — Мои деревья! Он вас не слышит. Он воюет. Он прав. Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летними экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.
198. Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат. Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти.
199. Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснять трудно. Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции. Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ. Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой: — Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выразилось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.
200. Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... <...> Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений. Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь даст ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.
201. Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой... <...> Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды...
202. Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой. Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо

проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве. Но разразилась война...

203. Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит! Распад начинается прямо на глазах.
204. Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четыре километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии.
205. То, что задание становится бессмысленным, — признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа.
206. Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишённые всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас, — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием...
207. Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедленно постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло...
208. Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничились нашей моралью проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.

СМЫСЛ И ЦЕЛЬ, БУДУЩЕЕ

209. И если Ривьер вернёт телеграммам их подлинный смысл, если он вернёт дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам — их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море. [«Ночной полёт», 1930]
210. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.

211. Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы...
212. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: *«Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...»* Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? *«Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»* Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.
213. Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.
214. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви. Скульптор несет в себе груз будущего творения.
215. Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!
216. Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.

СУБЪЕКТ

217. Пастухи... Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие!

218. Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злему року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ (СУЩЕСТВОВАНИЕ, РЕАЛЬНОСТЬ)

219. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность.
220. Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой. Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве. Но разразилась война...
221. Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.
222. Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...

СЧАСТЬЕ И СТРАДАНИЕ

223. Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Всё, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — всё это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. <...> Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. <...> Самолёт

входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив. [«Ночной полёт», 1930]

224. Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное... [«Ночной полёт», 1930]
225. Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста: *«Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?»*. Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И всё же мосты строятся... Инженер тогда же добавил: *«Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чём другом основана быть не может»*. — *«И всё же, —* ответил ему позже Ривьер, *— хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто ещё более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?..»*. И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает чье-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: *«Во имя чего?»*. *«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо»*, — думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. *«Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?»*. Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно — всё равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их ещё безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла. [«Ночной полёт», 1930]
226. Всё здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка чёрствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене... Дома всё кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов... А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь всё было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) — услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: *«...опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!»*. Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта. Её губы слегка дрожали. Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой. Но её правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к её лицу и читали на нём эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить. [«Ночной полёт», 1930]

227. Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишиться рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своей способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.
228. И право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа, — оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места.
229. Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек. Детство... Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь... Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле... И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда...
230. Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо. Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, заплыть любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину. Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоём действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде.

Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твоё открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: *«И он сказал своему итурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..»* Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твоё изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого. Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за своё тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом. Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

ТАЙНА

231. Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадней, и он находил утешение в маленьких чёрных камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны. [«Ночной полёт», 1930]
232. **Ривьер:** *«Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то тёмное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьёз его страхи — и он поверит, что и впрямь побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны — только её — он и боится; нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в её толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, — и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь Неведомое».* [«Ночной полёт», 1930]

ТРУД

233. Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Всё, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, — всё это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. <...> Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. [«Ночной полёт», 1930]

ТВОРЧЕСТВО

234. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового дерева так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.
235. Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль рождается из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

СУБЪЕКТНОСТЬ ЗЛА

236. *«Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю — и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полёт превращался бы в игру со смертью». <...> «А как хорошо было бы пожалеть людей...».* [«Ночной полёт», 1930]
237. Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки. — Место подсобного рабочего. — Нет, мсье, нет... Я хочу вам сказать... — Можете идти. *«Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает Ривьер. — Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты создаешь. Да и людей создаешь. Или устраняешь, если они — орудие зла».* <...> Достаточно было сказать: *«Ну ладно, ладно, оставайтесь»*, — и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. *«Разорвать бумагу?...».* Семья старика, его возвращение вечером домой... *«Разорвать?».* Позвонил телефон. Ривьер взял трубку... <...> Ривьер думал: *«Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полёта погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти».* [«Ночной полёт», 1930]
238. *«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная тёмная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растёт, ширится, неистово бьёт ключом повсюду, где только затевается большое дело.»* Ривьеру подумалось — под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы. *«Большое дело...»* Ривьер пытался убедить самого себя: *«Эти люди... Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них...»* Его сердце билось коротко, часто, больно. *«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точно цены ни человеческой жизни,*

ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке...». [«Ночной полёт», 1930]

239. **Ривьер:** «Стоит только ослабить внимание, позволить твёрдо упорядоченным событиям снова поплыть по течению — и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии». <...> Он продолжает размышлять. «И тут нет, пожалуй, ничего странного. Так садовник изо дня в день ведёт борьбу на своём газоне... Извечно вынашивает в себе земля дикий, первозданный лес; но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю». [«Ночной полёт», 1930]
240. С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение... «Общественным мнением нужно управлять», — возражал он. Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И всё же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создаёт свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полётами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас. [«Ночной полёт», 1930]

ВЕЛИКАЯ ТЬМА И ВЕЛИКАЯ НОЧЬ

241. «И море, и буря качали наш челн; Я, сонный, был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, И мной своевольно играли оне. Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, Окликались ветры и пели валы. Я в хаосе звуков лежал оглушен, Но над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно-яркий, волшебнo-немой, Он веял легко над гремящею тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир — Земля зеленела, светился эфир, Сады-лабиринфы, чертоги, столпы, И сонмы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, По высям творенья, как бог, я шагал, И мир подо мною недвижимый сиял. Но все грезы насквозь, как волшебника вой, Мне слышался грохот пучины морской, И в тихую область видений и снов Врывалась пена ревущих валов.» [Тютчев Ф. И., «Сон на море», 1830]
242. «О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумно? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке — И роешь и взрываешь в нем Порой неистовые звуки!.. О! страшных песен сих не пой! Про древний хаос, про родимый Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться!.. О! бурь заснувших не буди — Под ними хаос шевелится!..» [Тютчев Ф. И., «О чем ты воешь, ветер ночной?», 1836]
243. На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого. <...> Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил: — Полетим дальше. А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение. [«Ночной полёт», 1930]
244. Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолёты. Ночной полёт тянется долго, словно болезнь. Возле самолёта надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует — во всём мире не существует ничего, кроме зыбких невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить...» В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это всё, что остаётся от вселенной, и это необходимо спасти. [«Ночной полёт», 1930]

245. Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... <...> Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений. Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь даст ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.
246. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.
247. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность. Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она создается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.

ДИАЛЕКТИКА И ПРОТИВОРЕЧИЯ, АНТИНОМИИ

248. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ

249. Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишённые всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас, — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием...

ЦЕЛОСТНОСТЬ

250. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная

ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

251. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. <...> Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление... Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.
252. Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопчем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суедемся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.

ЧЕЛОВЕК (АНТРОПОС)

253. Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя. <...> *«Столько трудов — и прийти к такому итогу! Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий, — и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!»* [«Ночной полёт», 1930]
254. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоят...
255. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.
256. Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочно такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен. В каком-нибудь тихом городке,

сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны? Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.

257. Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.

ДЕТСТВО

258. *«Несколько ласковых слов — и арестанты чуть не воскресали нравственно. Они, как дети, радовались и, как дети, начинали любить.»* [Достоевский Ф. М., «Записки из мёртвого дома», 1861]
259. ...Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве!
260. Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь...
261. Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... <...> Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений.
262. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконтэ, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.
263. Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек. Детство... Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь... Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле... И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда...
264. Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ...» И целомудрие заставляет молчать...

ДУХ

265. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа.
266. Точно. Я отклонился влево. Это не случайно... Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я недогляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле... не о моем духе... Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.
267. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: *«Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...»* Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? *«Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»* Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.
268. Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготавливавшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма.
269. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.
270. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконтте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми

награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

271. Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логика нам твердили: *«Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?»* Логика были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.
272. Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти. Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он сложен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.
273. Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.
274. Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!
275. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дождала до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дождала до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.
276. Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, избличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не

сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

ДУША

277. Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души!
278. Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство?
279. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового ореха так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.
280. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дождалась до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дождалась до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.
281. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков остальному миру. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция — таков был ее долг перед самой собой.

ИНСТИНКТ (ЖИВОТНЫЙ АСПЕКТ)

282. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: *«Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно*

готовить тысячами...» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? *«Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»* Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

283. И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния, какого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира, это верно. Но мир для них — всего лишь конец этого невероятного хаоса и возможность вновь обрести себя, свою личность, пусть самую скромную. Так бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную.
284. Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот главное.
285. Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом...» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек — Человек, общая мера для всех моих товарищей. <...> Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас...
286. Моя духовная культура основана на культе Человека в отдельной личности. Веками она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в груди камней. Она проповедовала Человека, который превосходит отдельную личность...
287. Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.
288. Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку независимо от его личности.
289. Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не прижало личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей забывать о себе, тем самым возвышая себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену.
290. Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

291. Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.
292. Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ

293. Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злему року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

СОВЕСТЬ

294. Я, конечно, ворчу, но без всяких угрызений совести, потому что я совершенно прав!
295. Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка, — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев. Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, Огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.
296. Хотя я в грозном облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: *«Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек...»* Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удастся запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы серьезнее...

СОЗНАНИЕ

297. К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа.

ТЕЛО

298. Точно. Я отклонился влево. Это не случайно... Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно

помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я недогляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле... не о моем духе... Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.

299. Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своей способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.
300. Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо. Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, заплыть любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину. Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоём действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твоё открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «*И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..*» Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя

ненависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого. Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом. Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

301. Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.
302. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дождала до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дождала до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

ЧЕСТЬ

303. Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния...

ЧУВСТВЕННОСТЬ, СЕНСУАЛИЗМ

304. Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходиться в отчаяние.

305. Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отречься от того, что неотделимо от нас.
306. Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедленно постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло...

ЭТИКА, МОРАЛЬ, ПРАВСТВЕННОСТЬ, РЕЛЯТИВИЗМ

307. Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей, остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.

ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ

308. Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния...
309. Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходиться в отчаяние.
310. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... <...> Надо... надо... Но я

- хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
311. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.
312. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконтте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.
313. Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожидла до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожидла до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.
314. Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отречься от того, что неотделимо от нас.
315. Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность.
316. Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...
317. Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва. Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.

Конец текста